



**[А. Л. ЗОРИН, А. С. НЕМЗЕР,
О. А. ПРОСКУРИН]**

Человек, который пережил конец света

Беседа за «круглым столом» «Независимой газеты»
карамзинистов Андрея Зорина, Андрея Немзера
и Олега Проскурина

А. Немзер. Как случилось, что Карамзин (днями ему исполняется 225 лет) стал «культурным героем»?¹ Почему наше тревожное время все пристальнее вглядывается в наследие и личность писателя, четверть века назад казавшегося интересным только узким профессионалом?

А. Зорин. Я думаю, Карамзин был в высшей степени актуализован 70-ми и 80-ми годами, в становлении его культа были задействованы различные культурные механизмы. С одной стороны, либерально-интеллигентное сознание постепенно переходило от идеализации декабризма, понимавшегося в духе известных ленинских формул («Страшно далеки они...» и т. п.) как идеологи романтического бунтарства и безнадежного протesta («Выпьем за успех нашего безнадежного дела» — называлась картина Б. Биргера, короля диссидентского салона), к индивидуализму, поискам сохранения личности в социально-неблагоприятных условиях, равноудаленности и от власти, и от оппозиции. Карамзинская тирада «Пусть громы небо потрясают, / Злодеи слабых угнетают, / Безумцы хвалят разум свой. / Мой друг, не ты тому виной»² оказаласьозвучна духу эпохи. Показательна эволюция такого чуткого историка, как Н. Я. Эйдельман, от декабристской тематики к карамзинской. С другой же стороны, Карамзин был удобен национально-патриотическому крылу как создатель «Истории...», человек, путешествовавший по Западу и вернувшийся к корням. Правда, на этой базе, к сожалению, серьезных историко-литературных исследований создать не удалось, но публицистических статей было множе-

ство. Эти два мифа срезонировали и дали возможность противостоящим лагерям выдвинуть общую фигуру.

О. Проскурин. Полагаю, нужно сделать кое-какие уточнения относительно всеобщей актуальности Карамзина. Громко и много о Карамзине заговорили не ранее 1987 года — на волне перестроечного мифа о спасительной роли Исторической Правды: гласность уже есть, осталось всю правду сказать — и эту правду сказать — и эту правду скажут Карамзин, Соловьев и Ключевский, сокрытые злоказненными сталинистами от народа. И наступит золотой век. Обещалось что-то посильнее Пикуля, только при этом судьбоносно-правдивое. Карамзин в этом мире был условно-эмблематической фигурой: новоявленные «карамзинисты» знали его понаслышке. И вот когда волна «мифа о правде» спала, растерянные читатели обнаружили: вместо обещанных жемчужных раковин какой-то бесполезный песок вызвал бескорыстный интерес. Видимо, это и есть культурная актуальность...

А. 3. Разумеется, речь должна идти об одном, двух, трех процентах от числа читателей, на которых ориентированы гиперболические тиражи массовых изданий. В этом слое и осуществляется культурная динамика, идет актуализация и деактуализация фигур прошлого.

А. Н. Можем ли мы в таком случае предположить, что Карамзин действительно оказывается фигурой, как бы снимающей культурные противоречия современности? Всех ли на самом деле устраивает Карамзин? Где кончается «мифотворчество» и обнаруживается смысловое ядро карамзинского наследия, производящее отмеченные выше культурологические концепции?

А. 3. Те два карамзинских мифа, о которых я говорил (Карамзин-патриот, вернувшийся от западной скверны к отеческим древностям, и Карамзин — одинокий либерал, не понятый ни режимом, ни оппозиционерами), не впервые в истории нашей словесности. Еще в 30-е годы XIX века возник государственный миф, несколько позднее канонизированный Гоголем в «Выбранных местах...» и сводившийся к фразе Николая I: «Карамзин был почти святым и умер, как ангел». Карамзин — святым, человек равно чистый и благонамеренный, исполненный мыслью о единстве государя и отчества. В этом духе проходили и юбилеи Карамзина — участие членов императорской фамилии, торжественный молебен, и именно эта официализация Карамзина, естественно, спровоцировала резко негативную реакцию в так называемых демократических кругах, породивших

свой миф о Карамзине-консерваторе, сентиментальном помещике, который угнетал крестьян и умилялся пичужкам³. Эту концепцию и восприняла официальная советская историография и литературоведение, и она прожила в той или иной форме до 1957 года, когда появилась классическая работа Ю. М. Лотмана «Эволюция мировоззрения Карамзина», изменившая ситуацию.

А. Н. Возвращаясь к официальному мифу, я хотел бы обратить внимание на некоторые детали. Задолго до того, как слова государя о Карамзине-ангеле (кстати, содержащие приметную современную отсылку к культу Александра Благословенного; именно он, патрон и собеседник Карамзина, именовался ангелом) обрели особую весомость, уже наметилось столкновение разных воззрений на жизнь и деяния Карамзина. Засахаренно-официозная трактовка Карамзина тревожила Пушкина, Вяземского, Ал. Тургенева во второй половине 1820-х годов. Греч и Булгарин точно уловили конъюнктуру и не замедлили с мемуарами. Если Грече еще можно было сносить⁴, то с Булгариным, совсем недавно нападавшим на «Историю...», дело обстояло иначе. Пушкин решительно противился публикации его «Встречи с Карамзиным» в «Северных цветах» (1827). Отсюда пушкинские призывы к Вяземскому⁵, потенциальному биографу Карамзина, отсюда его позднейшая борьба за публикацию «Записки о древней и новой России». Пушкин ждал беды от «чужих», а шла она и от «своих»: 30 августа 1827 года бывший «арзамасец» Блудов обратился к Вяземскому с письмом, явно инспирированным свыше и полным укоров старому приятелю. Блудов «советовал» «быть полезным» правительству, <приводил в пример вольнодумному шурину> «того, кто был... как бы выразиться?.. кто был почти совершенным, потому что в этом дольнем мире нет полного совершенства. Я говорю вам и от его имени и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился подражать ему». Письмо это (впервые опубликованное М. И. Гиллельсоном) Лотман справедливо назвал «одним из самых подлых... в истории русской литературы». Проблема «былых друзей», симпатичных сентиментальных оклокарамзинских бюрократов (Блудов, Уваров) вставала во весь рост. Сбывались мрачные предчувствия Катенина и Грибоедова, давно угадавших сервильные начала в людях из карамзинского окружения (впрочем, не щадивших и Жуковского, и самого Карамзина⁶). Я хочу сказать, что государственный миф складывался не на пустом месте, в нем по-разному нуждались разные люди; он мог иметь и гуманистические обERTоны, вроде легенд о том, что не умри

Николай Михайлович 22 мая, не было бы и казни декабристов 13 июля. Карамзин был отчетливо мифогенной личностью.

О. П. Совершенно верно. Миф о Карамзине как «неангажированном интеллигенте» тоже возник не на пустом месте. Ведь и для самого Карамзина, и для его молодых друзей из «арзамасского» круга 1810-х годов очень важно, что Карамзин — это в первую очередь приватный человек, сознательно устранившийся от официальной карьеры и участвующий в политике и гражданской жизни не по должности, а по свободному выбору. Позиция независимости ценится очень высоко. Кстати, немаловажные компоненты прижизненного «имиджа» Карамзина — не только признание и слава, но и зависть, вражда и гонения.

А. Н. Очень любопытно, что из того ядра, которое мы постепенно нащупываем, исходит и «арзамасская», и «государственная» линии карамзинского мифа. То государство, которое пытался (безуспешно) строить Николай I, то государство, идеологический каркас которого возводился по проектам Уварова, нуждалось в приватном благонамеренном человеке. Карамзина можно было без очевидных натяжек вписать в «уваровскую» идеологическую модель. И современники могли не улавливать здравой историкам «дьявольской разницы» между Карамзиным и тем, кого почитали Николай I, Уваров, Блудов. И отсюда решительная неприязнь к Карамзину, отличная от той, что испытывали Андрей Тургенев на рубеже XVIII—XIX веков или декабристы на рубеже 1810—1820 годов⁷. Это плохо скрытая неприязнь Н. А. Полевого⁸, которому в печатных текстах приходилось как-то соблюдать пристойность. Это очевидная ненависть Белинского. В интимном письме М. С. Щепкину «неистовый» по случайному поводу (речь шла о детях адресата) мог выразиться так: «Славные ведь они ребята, хоть и носят прескверные имена: одно напоминает мне Карамзина, а другое — обглоданную вшами светлость» (т. е. светлейшего князя П. М. Волконского, министра двора, человека с нелучшей репутацией). Контекст однозначен, комментарии же требует само чувство Белинского. Это не неприязнь к писателю минувшей эпохи — вопреки расхожим сегодня мнениям Белинский знал и ценил литературу ушедших лет, в частности, горячо любил Державина. Это и не неприязнь к государственнику — опять-таки вопреки новейшим пошлостям Белинский был государственником убежденным и резким (показательны его симпатии к Ивану Грозному). Бесит именно включенность в политику частного человека, бесит корректность и хороший тон, бесит подчеркнутая, знаковая «антиреволюционность». Белинский бо-

лезненно реагирует на то, что впрямь Карамзину было присуще. Карамзина революции не только ужасали, но и раздражали. Даже эстетически. На беспорядок 14 декабря он и реагировал беспорядочно: метания, потерянная шляпа, резкости в письмах о поверженных «рыцарях» «Полярной звезды» (Рылееве и Бестужеве), сакраментальное: «Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж».

А. 3. То, что произошло с Карамзиным 14 декабря, — это была реакция на выплеск исторического хаоса.

А. Н. В цитированном письме И. И. Дмитриеву Карамзин старается убедить друга в собственном спокойствии, а мы слышим тревогу. Попытается взглянуть на случившееся по-тацитовски он позднее, но чего стоило это спокойствие! Что перевешивает: «Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века»⁹ или скорая смерть, которую современники связывали с потрясением от 14 декабря?

А. 3. Впрочем, декабристский миф тоже поддается переосмыслению. Очень интересна идея Я. Гордина¹⁰, увидевшего в декабристах не героических самоубийц, но pragmatиков, точно видевших свою цель, но не сумевших по внешним причинам ее достичь. Тогда Карамзин и декабристы на Сенатской площади — это люди, по-разному понимавшие pragматическую задачу русской истории. Время пока не рассудило этот спор и вряд ли когда-нибудь рассудит.

О. П. Наш разговор вращается пока главным образом вокруг идеологических основ карамзинского мифа. Между тем нельзя сбрасывать со счетов и еще одну сторону вопроса — эстетическую, собственно литературную. Почему, допустим, «арзамасцы» настаивали на том, что Карамзин — это великий писатель? Они ведь превратили его в какое-то литературное божество. Его критика воспринималась как кощунство...

Что оказалось решающим для создания этого культа? Талант? Да мало ли талантов в России?! Мне кажется, не в одном таланте дело. Карамзин оказался талантливым человеком, удивительноозвучным динамике новой культуры. Он был первым большим писателем, осмыслившим и политику, и историю, и государственность, и проч. и проч. — в отношении к собственной личности, к собственным духовным интересам, к собственной духовной биографии. Пафос исторический и художественный оказался вместе с тем и пафосом жизнестроительным¹¹.

Самая «История государства Российского» в этом смысле — уникальный текст. За катастрофами, ужасами, кровавыми катаклизмами истории (свидетелем всего этого историограф был еще в молодости) Карамзин пытался прозреть некий высший смысл исторического пути — и исторического существования человека. Первоначальный импульс кропотливых академических штудий — очень интимный, личностный. Это стремление так обустроить историю, чтобы человеку в ней можно было жить. Между прочим, подспудные стремления Карамзина проницательно уловил Ключевский, писавший о них с понятным позитивистским неудовольствием, но по сути совершенно верно: «Взгляд Карамзина на историю строился не на исторической закономерности, а на нравственно-психологической эстетике».

В результате Карамзину удалось выполнить две задачи. Во-первых, он дал России нечто вроде героического эпоса, без которого нация страдает комплексом неполноценности...

А. Н. Это и обусловило восприятие «Истории...» современниками, гениально выраженное отнюдь не литератором, но бретером и игроком, знаменитым Федором Толстым (Американцем), который только от «чтения Карамзина узнал ... какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него Отечество есть»¹².

О. П. И, во-вторых, Карамзин адаптировал эпос к интересам современной личности. Если перефразировать Бахтина, Карамзин «романизировал» эпос. Здесь — в «эпосе» и «романе» — истоки двух мифов, о которых уже шла у нас речь. В «Истории...» они выступают в единстве.

А. 3. Мы здесь много говорили о разных мифах, но без мифов нет культурного процесса. Чтобы не создалось ощущения, что мы кого-то разоблачаем, полезно принять посильное участие в создании нового мифа о Карамзине. Мне бы хотелось выделить те черты его личности, которые могли бы, по-моему, быть созвучны сегодняшнему дню. Карамзин, что, безусловно, необычно для русской истории, был человеком успеха, точно знаяшим, чего он хочет и что надо сделать, чтобы этого добиться. Совсем молодым человеком он создает «Московский журнал», приобретающий популярность в самых разных слоях. Позднее приступает к изданию «Вестника Европы», первого в России политического журнала, и опять добивается успеха. Став без всякой специальной подготовки историографом, он, по ходу дела, осваивает это ремесло и лишь чуть-чуть (смерть помешала) не успевает завершить это немыслимое по масштабам предприятие.

Триумф, который имела «История государства Российского», общеизвестен. Он знал, на что есть общественный спрос, и умел быть интересным и массовому читателю своей эпохи, и избранным интеллектуалам. Знаменита его фраза о том, что он никогда не имел долгов (в пору, когда жизнь в долг была нормой для русского дворянства). Он гордился этим, как и тем, что никогда не имел начальства и не отвечал на критику. Сам строй его существования — от строгой и единообразной системы питания до распорядка дня — был тщательно продуман. Известен его режим в ту пору работы над «Историей...» — он совсем не истязал себя трудом. Другое дело, что он работал систематически, четко и регулярно.

А. Н. Да, барства там не было ни в коей мере.

А. З. Нет, ни барства, ни разгильдяйства.

А. Н. И запоя, творческого запоя...

А. З. Никакой расхлябанности. Да и семейную свою жизнь Карамзин умел выстроить... Ведь в принципе семейная жизнь русских классиков, сколько бы ни проливали елея на те или иные сюжеты, — это тема, о которойально не только говорить, но и думать. Карамзин и здесь — одно из считанных исключений. В замечательной книге Ю. М. Лотмана «Сотворение Карамзина» говорится о холодах, исходящем от последних лет жизни писателя, при том, что он был окружен родными, друзьями и почитателями. Дело в том, что он жил по строго продуманной программе, а кругом текла горячая, пылкая, но абсолютно бесформенная российская жизнь. Карамзин пришел к выводу, что только непрекращающимся усилием можно обуздывать чудовищную стихию, таящуюся в истории и человеке. Его холод — это холод кристалла, погруженного в текущую лаву. В этом смысле мне кажется, что Карамзин может быть осмыслен как «очередная задача» русской культуры и ее недостающий элемент.

О. П. В карамзинском мифе сегодняшнего дня, выстроенном А. Зориным, есть место и для других обертонов. Мне, скажем, исключительно важными представляются те качества, которые превращают Карамзина в «человека конца». Под знаком затянувшегося конца прошла большая часть его жизни. Еще совсем молодым человеком он переживает конец исторической эпохи — крушение веры в законы разума, просвещение, в разумность человека, если на то пошло... В письме «Мелодор к Филалету» (созданном в разгар кровавой вакханалии Французской революции) есть до жути понятные сейчас строки: «Осьмой надесять век кончается, и несчастный Филантроп меряет двумя

шагами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!» Дальнейший путь Карамзина — это непрестанные попытки трезвого мудреца Филалета опровергнуть отчаявшегося поэта Мелодора. Это попытки внести в хаос гармонию, обуздать хаос пластическими формами — культурными, бытовыми, политическими. Здесь Зорин вполне прав. Но выбранный путь требовал колоссального внутреннего напряжения (не тождественного, конечно, физической работе «на износ»). Декабрь 1825 года продемонстрировал тщету человеческих усилий... Первый удар («начало конца») Карамзин героически выдержал. От второго оправиться уже не мог. В этом смысле в судьбе Карамзина для нас, «поколения конца», действительно заключены поучительные уроки.

А. Н. Уж очень мрачный финал. Конечно, эсхатология сегодня в ходу, но все же замечу: Карамзин пережил настоящую катастрофу. Он выдержал Французскую революцию — на мой взгляд, серьезнейший духовный катаклизм последних столетий, перекрывающий своим значением не только события 14 декабря, но и более близкие к нам: и установление коммунистического тоталитаризма, и его свершающееся (все же неокончательное) крушение. Как жить после «конца света»? Этот вопрос стоял перед всей европейской культурой в первой половине XIX века с предельной остротой. Он глубоко тревожил зреющего Пушкина, не раз обращавшего свой взор к другому перелому — началу христианской эры. Пушкин знал, что надобно жить и строить культуру, что еще ничего не кончилось. И при этом во многом опирался на Карамзина, то скрыто, то явно противопоставляя его «последнему римлянину» — Радищеву (о чем неоднократно писал тот же Ю. М. Лотман).

А. 3. Пушкин, действительно, во многом ориентировался на Карамзина, но не слишком удачно. Я, разумеется, не сравниваю ни масштабы таланта, ни историческую значимость, но только практику жизнестроительства. Пушкину не удалось добиться доверия властей (а он стремился к этому), в то время как оппозиционеры упрекали его в конформизме. Он не сумел урегулировать своих денежных проблем, и, тяготясь зависимостью, вынужден был снова и снова просить деньги у двора. Его периодические издания и исторические труды не вызывали читательского отклика — штабеля нераспроданной «Истории Пугачевского бунта» зреющим оттеняют ненасытный спрос читателей на «Историю...» Карамзина. Что до семейных невзгод, то они кончились гибелью поэта. Судьба Пушкина показывает, что даже гению жизнестроительный опыт Карамзина оказался

не по плечу. Я, честно говоря, думаю, что он вообще уникален для русской истории.

А. Н. Вероятно, есть вещи посерьезнее, чем успешное жизнестроительство. Духовная победа Пушкина носила иной характер. Но вернемся к Карамзину. Мы видим, как один миф сменяет другой, как они взаимодействуют, интерферируют, как пульсирует единое смысловое ядро карамзинского наследия, то подчиняясь голосам новых эпох, то их формируя. И, разумеется, не случайны сегодня и образ Карамзина-прагматика, и образ Карамзина — «человека конца». Но ясно, что и они проблемы не закрывают. Карамзин может повернуться к нам еще каким-нибудь неожиданным ракурсом. Любопытно, что русский «серебряный век» не создавал мифа о Карамзине (вроде тех, во многом по сей день актуальных, что сложились тогда о Пушкине, Гоголе, Лермонтове). Карамзин в ту пору актуален как художник: достаточно напомнить о стилистической ориентации на Карамзина у Федора Сологуба или иллюстрациях Добужинского в «Бедной Лизе», об общей стилизаторской «мири искуснической» перспективе.

О. П. Эстетически актуальным Карамзин оказался не только для символической эпохи, но и для постсимволической.

Ну а если говорить о дне сегодняшнем... Я думаю, что нынешней литературе, блуждающей в словесных лабиринтах «постмодернизма» и трех соснах монументального «реализма», остается один выход — к традиции Карамзина, умевшего соединять интеллектуальную насыщенность с языковой виртуозностью и повествовательным искусством. Нашей литературе никуда от Карамзина не деться. Если, конечно, русская письменность в ближайшее время не прекратит существование свое...

